

Бабушкой называлась мамина мать, которая жила с нами и умерла, когда мне было шесть лет. Вот тут-то и объявилась «другая бабушка» – мать отца.

То есть она и раньше фигурировала в речитативах мамы под (в лучшем случае) названием «Колькина мать» («КМ» и стало аббревиатурой, обозначающей для меня семейный персонаж; в глаза же я всегда звала её по имени-отчеству – Маригирасьна).

За 9 лет до появления Марии Герасимовны в моей жизни мама решительно с ней разругалась: не ужились в двухкомнатной хрущёвке шесть человек, среди которых 40-летняя свекровь с собственным молодым мужем и 19-летняя кокетка в роли невестки (моя мать)! Не прожив с семейством мужа и двух месяцев, мама увела отца к себе, надолго затаив обиду. (Ну, судя по рассказам, обе не в меру норовистые хозяйки там были «хороши»!).

Когда же скончалась «наша бабушка», мать ощутила благодарность к свекрови за то, что та вдруг предложила действенную помощь, за то, что так проникновенно о сватье говорила на похоронах... КМ была «условно прощена» и несколько приближена к дому.

Отец КМ любил, – а значит, мама к ней ревновала. Поэтому при случае пыталась доказать, что мать ТАКАЯ никакой сыновней любви не стоит. Из этих «доказательств» я почерпнула немало о своей, тогда ещё незримой, бабке:

Ну, например, то, что та бросила на целый год 11-летнего моего отца жить в одиночестве в московской (правда, коммунальной) квартире (уехала на Север к жениху, когда тот только-только освободился из лагерей «предателей» – советских военнопленных).

Второй (не знаю, так ли уж порочащий, но точно характеризующий мою «бабусю») эпизод – история о том, как в промежутке между гибелью первого мужа (мне деда) и этим «северным» последним браком КМ предприняла ещё одну попытку с плачевным для супруга результатом. Чёрт дёрнул его по дороге уже из ЗАГСа что-то у Маши спросить насчёт прописки... «Ах, вот что тебе было нужно?!» – воскликнула она. И молодые даже до дома не дошли, назавтра же подали на развод.

Все эти три официальных брака свекрови создали в сознании моей (необычайно пуритански воспитанной) мамы зловещий «порочный» образ, который она вслух

обозначала как... «проститутка»! И это стало одним из первых известных мне ругательств (я в детстве думала: «Ну, что-то вроде ДУРА...»). На ту же тему мать моя остролила, что свекровь обоих сыновей крестила в честь отцов для памяти, чтоб не забылось, кто от кого родился. (Как мой отец терпел все эти «шутки» в адрес любимой матери, – не знаю).

А кто она была на самом деле, носительница ТРЁХ говорящих фамилий (в девичестве и при смерти Суворова, в двух браках – Лютова и Коршунова)? И кем «другая бабка» стала для меня? Посмотрим...

Седьмой в семье, случайный поздний ребёнок, бабушка была любима, по преданию, своим отцом, но не любима матерью. А впрочем, я услышала очень нежное воспоминание о бабушкином деревенском детстве: как, приходя, замёрзшая, с катания на санках, она ложилась к маме, и та грела ладонями её озябшие коленки. «Где ты, мама?» – вдруг залилась слезой КМ в этот момент рассказа.

10-ти лет потеряв отца и кончив как раз единственную в селе начальную школу, КМ уехала в Москву – доучиваться и жить с давно обосновавшимися там старшими братьями. Саша Коршунов, последний муж, был одноклассником и, видимо, первой любовью Маши. «Самый умный мальчик и самая красивая девочка в школе», как говорили про них, конечно, должны были объединиться.

Однако моя прабабка, заподозрив дурное (какое-то не в меру нежное письмо он написал), дочь ПРОКЛЯЛА (семейные проклятия, кстати, были в ходу у этой ветви моей родни, известной в селе как род старообрядцев-кузнецов и знахарей, проклятия эти пустыми фразами не повисали... и мне был случай убедиться). А класс их оказался как раз из тех, чей выпускной бал пришёлся на день начала Великой Отечественной войны. Маша с Сашей надолго разлучились, как мы знаем.

Для Маши (не слывшей «самой умной») средняя школа оказалась последним учебным заведением в жизни. Всё время на «бумажных» должностях она работала сначала в Министерстве Обороны, потом, в пору моего уж детства, в Моссовете. В 22 года, к самому концу войны, «другая бабка» осталась вдовой с ещё не годовалым сыном и вскоре отдала ребёнка «бабусе седенькой» – матушке своей в деревню.

А матушка МОЯ и этот «отказ от сына» причисляла к списку грехов, но, право, думаю я, что отцу на сельском на приволье и молоке от собственной коровы расти было полезней, чем где-нибудь в черкизовском детсаде. А что ещё могла бы предложить вдова-девчонка, вынужденная работать и думать об устройстве «личной жизни»?

Мне КМ рассказывала, как каждую неделю с сумками, набитыми едой, она пускалась в путь – на электричке и долго пешком от станции до дома, где ждали сын и мать. Как в январе однажды на этом снегом занесённом просёлке ей повстречался волк (да, к счастью, обошлось). И как людей, лихих, боялась.

Не знаю... КМ любила шутки, часто недобрые, и розыгрыши обожала. Фантазией господь её не обделил, так что не угадаешь, что правдой было в её рассказах, а что ложью, где захотелось ей себя немножко обелить... Грехи же были. Тяжкие грехи. Не то, чтобы она в них каялась в последний период жизни, но помнила. И ощущала потребность рассказать.

Рассказывала же всё мне, старшей из внучек (трёх – от обоих сыновей), в те долгие часы, что мы с ней говорили по телефону. Тогда КМ вдруг оказалась в инвалидном кресле и полностью сдалась на милость сыновей (точнее, двух своих невесток), а это, при самовластном и вольном нраве, ей было невыносимо. КМ скончалась... странно. Настал черёд ухаживать за ней семейству брата отца. И в эти дни, как мы узнали позже, её насильно увезли в больницу, где за ней не было специального ухода, требовавшегося при её болезни. В три дня, что она оставалась там, случились необратимые изменения в здоровье. И, когда мать нашла её в больнице за день, как оказалось, до смерти, КМ уже не узнавала никого. Но говорила... благостно. И что-то, как мать передала, в ней изменилось... в лице, какое-то явилось нежное девичье выражение.

О младшем сыне, прежде всегда любимом, она мне рассказала, что снился сон, как он к ней входит, – а глаза сверкают! и она знает, что сейчас убьёт! Над гробом оба брата друг с другом не говорили. Нас было пятеро на церемонии кремации (их две жены и я), шестым – когда-то тоже влюблённый в Машу одноклассник. У этого-то деда с его женой (нас дядя в унаследованную им квартиру не пустил) мы ели мамой испечённые блины – ну, и поминки!..

Я ни разу не навестила бабку с тех пор, как та обезножила. И КМ, вообще капризная ужасно, ни разу не потребовала меня к себе, что маме было странно. По своему предательскому обыкновению, я не хотела исказить тот образ прелестно седовласой и сдержанно нарядной «бабули» со свежим молодым лицом, что оказался запечатлённым в памяти со школьных лет. Я попросту боялась увидеть немощь, старость, болезнь (я буду за то наказана, я знаю)!

Впрочем, и КМ, по маминым рассказам, ни ей, ни мне не приходила на помощь (хотя бы «посидеть» со мной), когда то не входило в её планы. Я считала себя обязанной КМ за разговоры (какие, – ниже расскажу). Не навещала. Но говорила с ней (благо сидела

дома с дочкою) часами, когда бы мне КМ не позвонила. И первая с ней не прощалась никогда. Это за то, что та ни разу мне не отказала в трёпе, когда 7-летней школьницей впервые оставаясь дома одна, я так боялась сгущения сумерек!

Я звонила маме – узнать, когда придёт. Ей было некогда, конечно (она и так мне позже мстительно припоминала слова шефины – «науку в рабочее время, Милочка, не делают», а тут ещё ребёнок претендует и на него!), мне приходилось класть трубку. Тогда я набирала номер дяди. Отцовский брат был первокурсником-студентом и не отказывал себе в садистской радости племяшку попугать: по телефону от наплетал КРОВЬ ЛЕДЕНЯЩИЕ рассказы о духах, о покойниках, пиратах!.. Сомнительным было такое средство от моих страхов, но я предпочитала его «интерактивные ужастики» коротанию часов в безмолвии и темноте (не зажигала свет одна, боялась «засветиться»).

А если дяди дома не случалось, я набирала рабочий телефон КМ. Она со мной приветливо болтала, когда же отлучалась по делам или выполняла срочную работу, передавала трубку сотрудницам, и те охотно тоже меня расспрашивали о чём-то по очереди, так что беседой своей я «осчастлививала» весь отдел. Как это скрашивало тоскливые два-три часа, что отделяли начало зимних сумерек от возвращения с работы мамы!

Дядя Саша, Сашка, как просто называли его мы все, по возрасту был ровно посередине меж мной и моим папой (– 11 и + 11 лет), он сам казался мне, скорее, братом, чем дядей, – тем старшим братом-защитником, о котором мечтают все маленькие девочки, наверное (и в самом деле как-то раз он даже не поленился приехать к концу моих уроков – припугнуть не в меру любвеобильного поклонника, такого ж первоклашку!). Во всяком случае именно братом Сашка был мне в те три-четыре года оживления отношений между КМ-ской семьёй и нашей. Потом случилась какая-то нелепая ошибка, вышло, что я оклеветала дядю и застеснялась, хоть был никто из нас не виноват, потом дядя уехал из Москвы, потом женился... Общение как-то само собой заглохло.

КМ к нам приезжала с мужем на День Рождения папы, всегда дарила что-то ценное, хотя богатой-то особо не была. Слывя гневливой самодуркой, раздражая бывших односельчан ничем не подкреплённым, как те считали, сомнением, КМ и щедрою умела быть по-царски (ну, по-купчески) и «жаловать» любила.

Мы навещали «другую бабушку» раз в год – в День её рождения, когда осень готовилась вот-вот преобразиться в зиму, однако всё пахла перепревшим летом. Проезжали тогда насквозь Москву по веточке метро, соединявшей с детством моих родителей, – до самой до Преображенки. Там часто заставляли в гостях выпускников их

довоенной школы... всех, кто выжил. Да, дружный у бабушки с отцовским отчимом был класс! И «мальчишки» все оказались в карьере удачливей, чем их «самый умный».

Мне было время в комнате у дяди, скрываясь от гостей, полазить по остаткам былых мальчишеских сокровищ, что было феерически приятно! Однажды меня там ждал сюрприз: КМ мне подарила клетку с живым волнистым попугаем, – исполнилась моя мечта! Дядя рассказывал не только про призраков, но иногда – про хомячков, которые перевелись, но жили в доме всё его детство, показывал «полезные» девице приёмы самбо (которым, кстати, занимался и отец). Рассказывал и об индейцах (под впечатлением от Гойко Митича, как все мальчишки, рождённые в 50-х).

И возвращаясь снова к моей вине... Вина, как представлялось мне, – не в том, что я КМ не навещаю. Но был один наш коллективный грех, который я осознавала и устранить который всё ж не взялась. КМ, утратив способность к самостоятельному передвижению, рвалась в деревню – попрощаться, в тот дом, где родилась, который всю жизнь любила, где проводила почти все отпуска. Никто (включая и нас с мужем) почему-то туда старуху не отвёз, не пожил с ней хотя б неделю. Я говорила об этом с мамой, но та, достаточно сил тратя на уход за вредной и скандалящей свекровью, к сентиментальным доводам была глуха. Сама я не решилась.

И вот за этот «грех вольный» наказана была. КМ успела проклясть, оговорить, точнее, мой только что построенный в другой деревне дом!

Шёл год последний её жизни. Чёрт дёрнул меня сказать о том, что дом достроен... Внезапно разволновавшись, КМ ужасным голосом вопила, что я не знаю, что значит «жить в деревне», что я ни чёрта не умею – в деревне, а она умеет всё! Я испугалась: в этом крике соединилась вся боль тоски по уходящей жизни, вся ненависть полупокойницы к живым, тоска вся по утерянному раю своих в деревне проведённых лет. Я даже не могла поверить, что так черно кто-то способен завидовать потомку – собственному продолжению в мире!

Повесив трубку, я, помню, закружилась на месте в шаманском танце, что-то такое бормоча, пытаясь инстинктивно свой выстрадавший дом от зависти (той, что рождена была колдуньей деревенской!) «отмыть». Но тщетно! Мне не было и 30, и я была «вполне благополучна», кровь знахарей «в два поколения жиже» во мне была... СИЛ не было, что я могла поделаться?! Восторгов здесь, на даче, где я пишу теперь о бабке, было много. Но счастье с момента её «проклятия» ушло.